

Цена 9 коп.



БИБЛИОТЕКА
КРОКОДИЛА

18
(743)



СЕМ. НАРИНЬЯНИ
**КОРМЯЩАЯ
БАБУШКА**



1908 — 1974

Сем. НАРИНЬЯНИ

Семен Давыдович Нариньяни принадлежал к старшему поколению советских журналистов. Литературную деятельность он начал в 1924 году в комсомольской газете города Ташкента. Потом по приглашению «Комсомольской правды» переехал в Москву. В 1929—1930 годах по комсомольской мобилизации трудился на строительстве Сталинградского тракторного завода. С 1930 по 1932 год был корреспондентом «Комсомольской правды» на строительстве Магнитогорского металлургического комбината. Потом снова работал в аппарате «Комсомольской правды». После войны продолжительное время возглавлял отдел фельетонов «Правды».

Юмористические рассказы и фельетоны Сем. Нариньяни печатались в сборниках: «Кукарача», «Фельетон о фельетоне», «Наследный принц», «Рядом с нами», «Гути-на мама», «Люди с частной квартиры»...

С. Д. Нариньяни автор нескольких комедий: «Опасный возраст», «Фунт лиха», «Послушание», — которые ставились как в Москве, так и в местных театрах.

БИБЛИОТЕКА КРОКОДИЛА № 18

СЕМ. НАРИНЬЯНИ

КОРМЯЩАЯ БАБУШКА

Рисунки Г. ОГОРОДНИКОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА 1975



КОРМЯЩАЯ БАБУШКА

Пьющих в семье дяди Сережи (Сергея Кузьмича Семишникове) было двое. Сам дядя Сережа употреблял хлебную в то время, как его благоверная, тетя Зоя (Зоя Федоровна Семишниковна), отдавала предпочтение фруктово-ягодным винам. Посему порожней посуды в доме за шесть дней скапливалось дай боже. На седьмой день, а именно в понедельник, дядя Сережа обычно отправлялся в гастроном менять освободившуюся тару на денежные знаки.

Этот злополучный понедельник не был исключением из правила. Дядя Сережа принял для опохмеления сто граммов и сказал супруге:

— Я мигом. Сдам посуду, себе возьму чекушку беленькой, тебе — красненькой и вернусь к обеду. А ты пока приготовь закусочку.

Дядя Сережа не вернулся домой ни к обеду, ни к ужину. Сергеем Кузьмич Семишников, старший дворник дома № 12/14, был в своем микрорайоне заметной личностью и правой рукой участкового инспектора милиции. Участковый приходит во вторник к своей правой руке, а правой нет дома. Участковый к жене:

— Где твой?

— Сама не знаю, сама беспокоюсь. В пору объявить гласный розыск...

— Не пори горячку с розыском. Старший дворник не иглока. Найдем. Пойду позвоню в «Скорую», может, несчастный случай на транспорте?

Участковый позвонил не только в «Скорую», но и в городской морг. Ни тут, ни там дяди Сережи не было. Участковый бежит к Семишниковым, чтобы обрадовать Зою Федоровну, а той тоже нет дома. Участковый к бабушке Груше:

— Где невестка?

Бабушка отвечает:

— Выпила невестка вечером стакан черносмородиновой, ушла и не возвратилась. Боюсь, может, и тут сотворился несчастный случай на транспорте?

Несчастный случай был, однако, совсем ни при чем. Чета Семишниковых сотворила самое настоящее преступление. Сын бабы Груши, Сергей Кузьмич, и его жена, Зоя Федоровна, решили вновь стать холостяками и, бросив трехлетнего сына Толика на попечение бабушки Груши, пустились в бег.

Со дня подлого побега прошло много лет, а родители не прислали домой ни одного письма, ни одного рубля. Ни разу не интересовались, как живут старый и малый члены их семьи. Самому Толику подлость, учиненная родителями, пошла, как это ни парадоксально, только на пользу. Вместо вечно полупьяных, сквернословящих папы и мамы мальчик оказался на попечении любящей, заботливой бабушки.

Бабушка старалась, чтобы ее внук жил не хуже других. Вкусно ел, красиво одевался. Для этого бабушке приходилось искать приработки на стороне. Убирать чужие квартиры, стирать чужое белье. Бабушкины старания помогли Толику преуспеть в жизни. В 16 лет он закончил с золотой медалью десятилетку, в 20 — вуз. В 24 года Анатолий Сергеевич Семишников защитил ученую степень кандидата наук. Бабушкин внучек преуспел не только в научной работе, но и в семейной жизни. Толик женился и через год, родив дочку Верочку, превратил бабушку в прабабушку. Прабабушка принялась нянчить, растить правнучку с той же любовью, с какой она четверть века назад нянчила внука.

Внуку поблагодарить бы бабушку Грушу, послать бы ее в санаторий, подлечить. Старушке было много лет, да и устала она изрядно. А внук вдруг устраивает подлость. Какую, именно, я узнал неожиданно. Произошел несчастный случай на транспорте, не мнимый, а всамделишный, и «Скорая» доставила корреспондента в больницу. Заведующая травматологическим отделением доктор Харлампиева подлатала пострадавшего, наложила на переломы гипс-



совые повязки. А вечером, когда наркоз улетучился, Зинаида Константиновна зашла в палату навестить больного, пощупала ему пульс, лукаво улыбнулась и сказала:

— Теперь, когда все страшное позади, хочу признаться: я чертовски рада несчастному случаю, который привел корреспондента ко мне на операционный стол.

— Почему рады?

— Надеюсь, что корреспондент поможет нам, медикам, вывести на чистую воду нескольких прохвостов. Спросите, каких? Тех, которые именуются сыновьями, дочерьми, внуками и ждут только подходящего случая, чтобы сбегать своих стариков в больницу и забыть про их существование. Сейчас у меня в отделении пять таких стариков. Мне особенно жалко бабушку Грушу. Чудная старушка из породы кормящих бабушек.

— Как это понимать?

— Кормят такие бабушки, конечно, не ползунков и не грудников, а великовозрастных оболтусов. Сначала у бабы Груши сидел на шее пропойца-сын с пропойцей-женой. Когда пропойцы сбежали, на бабушкину шею взгромоздился внучек Толик. Бабушка кормила, обувала, одевала внучка вплоть до самой защиты кандидатской диссертации. Но вот случилось несчастье. Бабушка мыла окно, свалилась с подоконника и со сломанной ключницей оказалась в больнице. Внучек ни разу не навещал бабушку. Ключица срослась, мы звоним в институт, где работает СЭНСе (старший научный сотрудник) Анатолий Сергеевич Семишников:

— Приезжайте за бабушкой.

А внучек не едет, не пишет. Ведет себя так, точно у него никогда не было бабушки.

Подлое поведение СЭНСе Семишникова возмутило меня, и, написавшись из больницы, я тотчас отправился к нему. В доме 12/14 Семишников уже не жил. Пока бабка лежала в больнице, внук получил квартиру в Черемушках. Я не поленился съездить туда. Старший научный сотрудник был недоволен визитом корреспондента. Подвинув ему стул, он холодно спросил:

— Чем обязан?

Вместо того, чтобы прямо сказать прохвосту, что он прохвост, корреспондент конспективно изложил ему содержание притчи, которая бытует на Востоке: «В одном небольшом местечке, таджикском, грузинском, а может, армянском, некий человек каждый день приходил в лавку и покупал шесть хлебов.

— Зачем тебе так много? — спросил человека лавочник.

И человек ответил:

— Два хлеба мы с женой съедаем сами. Два — даем в долг сыну, а двумя выплачиваем долг отцу с матерью».

— Притча верная, назидательная, — сказал старший научный сотрудник, — только сложена она про неблагодарных сыновей, а я только седьмая вода на киселе — внук. Когда будете писать о моем подлеце отце, не забудьте сказать, что этот подлец виноват не только перед своей матерью, но и перед своим сыном, которого бросил в младенческом возрасте без помощи.

— Ваш отец бросил без помощи вас, а вы бросили бабушку Грушу.

— Бабушка Груша не нуждается в моей помощи. Ей положен от государства пенсион — сорок пять рублей в месяц.

— Государство свой долг перед бабушкой выполняет. А вы живете в новой трехкомнатной квартире, и бабушку даже не прописали.

— Напрасно попрекаете меня тремя комнатами. Я СЭНСе, мне, как ученому, положена дополнительная жилплощадь.

— Понятно. А бабушка не СЭНСе, пусть остается жить в дворничкой?

— Временно. По решению Моссовета жители подвалов и полуподвалов дома № 12/14 в ближайшее время будут переселены в верхние этажи. Я узнавал в домоуправлении, бабушка Груша получит комнату в Давыдовке и будет жить в малонаселенной квартире подселенкой.

— Бабушка Груша не хочет жить подселенкой в чужой семье. Она согласна жить в углу за шкафом, на кухне, но только со своими, своим внуком и своей правнучкой Верой.

— Не понимаю, что люди находят хорошего в совместной жизни со своими родственниками. Ну что у нас общего с бабушкой? Я математик, бабушка бывший дворник. Интересы, круг знакомых у нас разные.

— Эх, вы, холодная душа! Вашей дочке Верочке пять лет, а она понимает, почему бабушка тянется к своей семье. В канун того дня, когда вы вызвали «неотложку», чтобы отправить бабушку в больницу, Верочка задала бабушке не по возрасту такой серьезный вопрос:

— Бабушка-прабабушка, когда ты была маленькой, у тебя был телевизор?

— Нет, не было.

— Бедная бабушка-прабабушка! Кто же говорил тебе «Спокойной ночи, малыши», когда ты ложилась спать?

— Смешной разговор, — сказал старший научный сотрудник.

— Скорей печальный. Ваша бабушка не слышала ласковых слов ни когда была маленькой, ни когда стала старенькой. А ласковое слово и кошке приятно.

— Понял, все понял! Будет бабушка Груша слушать ласковые слова не раз, а два раза в день. Вечером «Спокойной ночи», спо-

заранок «Доброе утро». Так и быть, потрачусь, куплю старушке телевизор, как хотите вы.

Я не хотел, чтобы СЭНСе тратился, покупал телевизор. Я хотел другое — рассказать читателю о стыдном разговоре, который старший научный работник вел с корреспондентом. Но прежде чем махнуть перо в чернила, корреспондент сделал еще одну попытку расшевелить совесть внука и сказал:

— Заберите бабушку из больницы. Она полгода не была дома, скучает.

— Как только бабушке выпишут ордер в Давыдково, я тотчас заберу ее из больницы, помогу переехать на новую квартиру.

— Не ждите Давыдково, перевозите ее к себе. Бабушка поможет вам воспитывать дочку Верочку.

— Я современный человек, научный работник и хочу, чтобы моя дочь получила современное воспитание. С трех лет Верочка должна учить языки: французский, английский. А бабушка Груша не знает ни того, ни другого. Мы с женой решили отдать Верочку на воспитание в иногруппу, которую ведет в нашем дворе вдова одного профессора. А деньги за два языка нужно платить немаленькие — тридцать рублей в месяц.

Разговаривать с кандидатом наук было больше не о чем. Однако, прежде чем сесте за фельетон, я позвонил в районную больницу узнать, нет ли каких новостей на старую, избитую тему «Отцы и дети».

— «Отцы и сукины дети», — уточнила старую тему доктор Харлампиева и сообщила свежие цифры: в травматологическом отделении в день нашего разговора находилось уже не пять, а шесть брошенных бабушек, в хирургическом — тоже шесть, в терапевтическом — восемь. Двадцать брошенных старушек на большой, густонаселенный район города как будто не так много. В среднем одна брошенная бабушка на пятьдесят тысяч семей. Но свинство и подлость нельзя простить человеку, даже если одна брошенная им бабушка или матушка приходилась бы не на пятьдесят тысяч, а на пятьдесят миллионов семей.

Вечером я пошел в институт, поговорить с работниками кафедры математики об их коллеге Анатолии Сергеевиче Семишникове. Вот что сказали коллеги:

— Семишников — один из наиболее эрудированных и вдумчивых сотрудников кафедры. Он в курсе всего самого нового, передового. Следит за книжными новинками, свободно читает иножурналы на четырех языках — французском, английском, польском, чешском.

В конце разговора коллеги спросили:

— Газета напечатает фельетон, чтобы снять СЭНСе с работы?

— Господи, почему? Пусть СЭНСе работает, продолжает оставаться в курсе самого нового, передового. Пусть читает иностранные журналы не на четырех, а на четырнадцати языках. Пусть только не забывает о своем долге перед старшими членами семьи, которые кормили, растили его, и хотя сами не знали ни одного иностранного языка, споспешествовали ему, неблагодарному, изучить целых четыре: французский, английский, польский и чешский.



С МИРУ ПО ТРЕШКЕ...



В парадном раздался неожиданный звонок, и в комнату зашла дама-патронесса. В каждом подъезде каждого большого дома есть одна-две такие дамы. В канун большого праздника эти дамы с подписным листом в руках обходят квартиры, собирают деньги на подарок дяде Ване, тому самому слесарю-водопроводчику, который установил в нашем доме разбойничью таксу: «— Ты мне дай на пол-литра, я тебе на ползакрутки кран подвинчу».

В последний раз деньги собирали не для дяди Вани, а по другому поводу. Разнося пенсии пенсионерам, почтальон Вера оставила в чьей-то квартире сумку с деньгами. Весь следующий день Вера разносила почту зареванной. Так со слезами на глазах принесла она журнал «Советская женщина» даме-патронессе. Добрая дама сначала всплакнула вместе с почтальоном, потом кинулась по квартирам.

— Давайте скинемся по трешке, и дело не дойдет до суда. Вера — молодая девчонка, жалко!

Дом у нас дай боже! Подъездов не то двадцать, не то двадцать пять, и в каждом — своя дама-патронесса. За два дня дамы собрали нужную сумму и спасли Веру от суда. Встречаю как-то в лифте почтальона Симу, спрашиваю:

— Ну, как Вера, не плачет больше о пропавшей сумке с пенсиями?

— Господи, неужто и вы поверили этой байке? Никакой пропажи пенсионных денег не было. Недавно райсовет переселил Веру из подвала в однокомнатную квартиру в ваш дом. Вера переехала, пригласила слесаря дядю Ваню подключить горячую воду к ванной. Тот пришел, огляделся, сказал:

— Сегодня же иди в мебельный, покупай финский гарнитур.

— На какие шиши?

— Дай трешку на пол-литра, научу, как достать полтысячи.

И дядя Ваня научил. Сочинил байку про пропавшую сумку с деньгами.

— Ах, каналы, ах, разбойники! — сказал я и отправился к даме-патронессе.

— Нужно писать жалобу. Сообщить комсоргу почты об обмане Веры.

Дама-патронесса отказалась писать жалобу на почтальона Веру: «Жалко, молодая девчонка!» Я решил написать сам. Под горячую руку не написал. А потом по тем же соображениям: «Жалко, молодая девчонка», — простил Веру обман. И зря. Дело было не столько в письменности Вере, сколько в вошедших с некоторых пор в обиход подписных листах. Дама-патронесса ходят не только по квартирам, где мы живем, но и по комнатам, где работаем. Сегодня собираются трешки для казначея кассы взаимопомощи, у которой на целую сотню дебет не желает сходиться с кредитом. Через неделю по коридорам и комнатам учреждения ходит новый подписной лист, собираются трешники на покупку ликерного набора ко дню рождения какого-то зам. зава. С подписным листом якобы от имени общественности ходят не только дамы-патронессы, но и отдельно взятые личности по собственной инициативе. Такая теперь мода.

— С миру по трешке!..

Прошла зима, за ней весна. В мае я снял в двадцати километрах от Москвы комнату на даче. На следующий же день спозарок ко мне приходит гость, здоровается, называет себя:

— Ведмедев! Простите, что побеспокоил, пришел поделиться отцовской радостью. Выдаю в воскресенье дочь Анастасию замуж.

— Поздравляю.

— Дочь у меня хорошая. Отца-мать уважает. Учится на четвертом курсе Второго медицинского института. И жениха она нашла хорошего, правда, не нашей православной веры. Он из венгров, Дьюла. Но я не посмотрел на веру, дал Анастасии согласие на свадьбу.

— Правильно.

— Сам понимаю, что правильно, да боюсь осрамиться. Жена хочет наварить к свадьбе ведро бражки да два ведра холодца. Будь

жених своим, нашенским, все было бы правильно, а он иностранец, и я обязан устроить застолье — чин-чинарем. Вот я и обращаюсь к вам по-соседски. Прошу не за себя, а из-за международного престижа, помогите ночному сторожу устроить такое застолье, чтобы жениху было о чем писать к себе за границу. Добрый человек Ивановский из дома № 15 ссудил мне пятерку, товарищ Ганечкин из дома № 13 тоже дал пятерку.

И я, как житель дома № 11, не захотел быть хуже жителей дома № 13 и дома № 15 и дал Ведмедеву столько же.

А на следующий день ко мне приходит участковый инспектор милиции Борис Иванович и ведет за ворота к канаве, а в ней на самом дне лежит мой недавний гость Ведмедев.

— Ваша работа?

— В каком смысле?

— В самом прямом и непосредственном. Полтора месяца Ведмедев, как алкаш, находился на принудлении. Только-только человек пришел домой, а вы преподносите ему на блюде с голубой каемкой полсотню на пропой.

— Моих в этой полсотне только пятерка. Я одолжил ее по-соседски на свадьбу дочери Анастасии.

— Какая свадьба, дочери Ведмедева Анастасии десять лет. Ну что другие поверили попрошайке, бог с ними, а ведь вы работник газеты! В прошлом году Ведмедев, дабы разжалобить дачников, придумал историю почище. Он собирал трешки на похороны своей неумершей жены.

— За такие поступки Ведмедева нужно судить.

— Вот вы соберитесь — все обманутые — и напишите прокурору коллективную жалобу.

Я спешил на работу, поэтому отложил составление жалобы на завтрашний день, завтра на послезавтра. А потом злость прошла, и я забыл про Ведмедева.

Прошел месяц. Воскресный день. Всем семейством садимся за обеденный стол. И вдруг в калитку входит молодой человек, приближается к террасе, ставит передо мной гипсовый бюст Маяковского и говорит:

— Сам слепил, если нравится — выручите, купите. Срочно нужна монета.

— Вытащили из кармана казенные деньги?

— Хуже. Кончил художественный институт. Комendant требует освободить место в общежитии, а выехать некуда, вот я и решил купить комнату в кооперативном доме. Другие наши выпускники зарабатывают башли на сладкую жизнь более бесчестным способом. Они рисуют копии с икон и продают их дуракам как подлинники древнего письма. А я не богомаз, не абстракционист! Я



работаю классиков литературы в манере Микеланджело и Паоло Трубецкого.

— Сколько просите за классика литературы?

— Ваш сосед из дома № 15 Ивановский дал 25 рублей, сосед из дома № 13 Ганечкин — двадцать.

Я решил на сей раз не соревноваться в щедрости с соседями и дал только пятнадцать.

Автор гипсового Маяковского кивком поблагодарил меня и заспешил на улицу. И вдруг слышу за спиной насмешливый голос соседа Ганечкина:

— И вас, значит, охмурил бывший студент?

Ганечкин перешагнул штакетник, подошел к террасе, показал гипсового классика с тыльной стороны, и я прочел плохо затертый, замазанный белилами нижеследующий фирменный знак: «Производство скульптурной мастерской фабрики учебных и наглядных пособий Наркомпроса. Цена 7 р. 50 коп.»

— Ах, каналья, ах, разбойник! — вскипел я.

— Готовьте солдатский ремень, мы сейчас отстегаем этого каналью. Сын сейчас догонит его, приведет.

Ганечкин-младший поймал, привел, запер каналью в дровяной склад. Вдруг гремит калитка. Какая-то женщина бежит к террасе, кричит:

— Где он? Куда вы дели моего дорогого Гошу?

— Ваш Гоша спекулянт. Через пять минут он будет доставлен в милицию!

— Гоша — хороший мальчик, он, не будет больше спекулировать.

Если бы эта мамочка действовала без всхлипываний, я, может, выдержал бы ее натиск, а она начала демонстративно сморкаться, тереть глаза платком, а я не могу спокойно видеть женских слез, тотчас раскисаю, поднимаю вверх руки, сдаюсь. Смотрю на Ганечкина, что станет делать он, а тот еще крепится. Тогда бедная мамочка кидается на грудь моему соседу, орошает ее влагой. Ганечкин-старший тут же сдается и кричит Ганечкину-младшему:

— Дай этому каналье два раза по шее, выбрось прохвоста за калитку.

Проходит полчаса, снова открывается калитка. На этот раз вижу старого знакомого, старшину милиции Бориса Ивановича. Стоит в большом смущении:

— Простите, беспокою по долгу службы. К вам случаем не заходил торговец головок?

— Каких головок?

— Классиков художественной литературы.

— Был, мы даже задержали его, хотели доставить в милицию, да пришла мать.

— Какая мать? Спекулянтка! В их бражке распределение обязанностей. Один скупает головки, другой их перепродает, а если кто завалится, тому на выручку бежит эта третья, якобы как родная мать.

— Господи, кто мог знать это? Она так искренне плакала!

— Жулье обманывает вас, а вы верите им!

— Неужели мне из-за одного жулика не верить всем и каждому? — оправдываюсь я. — А вдруг кто-то и в самом деле попал в беду? Скажем, мать-одиночка. Разве не нужно протянуть ей руку помощи?

— У вас, работников газеты, всегда крайности. Или — или. Разве я говорю: «Не верьте всем»? Я говорю: «Верьте, доверяйтесь но не передоверяйтесь».

И, сделав такое недостаточно вразумительное, но достаточно исчерпывающее заявление, старшина милиции Борис Иванович добавил:

— Начальник приглашает вас в отделение. Пойдемте, удостоверьте, те ли самые канальи сидят у нас в КПЗ, которые были у вас.

— Разве вы задержали их?

— Специально следили. Эти жулики за три последних воскресенья купили в нашем поселковом магазинчике «Культорга» и перепродали дачникам 42 головки классиков художественной литературы: 7 — Добролюбова, 22 — Чехова и 13 — Маяковского.

Я поднялся и поплелся в отделение давать свидетельские показания. Молча, безропотно. А на кого было роптать, сердиться? Сам виноват! За последние полтора года я стал жертвой не одного, не двух, а трех случаев «передоверивания»...





Борис Захарыч Берестов проснулся в этот день, как всегда, по будильнику, в семь тридцать утра. К восьми тридцати он сделал зарядку, побрился и, попив чаю, внезапно перешел в разговор с женой на «вы».

— Ставлю вас в известность, Натэлла Демьяновна, товарищ Берестова,— сказал он, принимая официальный тон.— С данной минуты я вам больше не муж, вы мне не жена. Мы разводимся.

— Что случилось, почему?

Натэлла Берестова смотрела на своего мужа и ничего не понимала. Всего час назад ее голова мирно покоилась на одной подушке рядом с головой супруга. Да что час, вот только-только, с тех пор не прошло и пяти минут, как они с Борисом сидели за столом и хорошо, по-семейному пили чай. И вдруг на тебе...

А времени по утрам, перед работой, у молодой женщины в обрез. Вот и сегодня она, как обычно, приготовила завтрак, накормила мужа, убрала за ним чайную посуду, и когда, сделав все это, Натэлла бросилась из комнаты к парадной двери, застегивая на ходу пальто, муж неожиданно и обрушил на нее разговор о разводе.

«Что это он, всерьез или в шутку? Ну, конечно, в шутку»,— думает молодая женщина и спешит к троллейбусной остановке.

Однако, как выяснилось позже, заявление о разводе было сделано Борисом Захаровичем не в шутку. Натэлла Берестова приходит

вечером с работы домой, а ее вещи стоят в коридоре. Она пытается открыть дверь в свою комнату и безуспешно. Предусмотрительный супруг успел уже, оказывается, переменить в двери замок. Она стучит:

— Боря, открой!

А он даже не откликается. Ну, что делать молодой женщине? Коротать ночь на улице? Спасибо соседям. Пригласили они Натэлла Берестову к себе.

— Побудьте до утра у нас. А к завтраму Борис Захарович отойдет, одумается.

Но Борис Захарович не одумался ни к завтраму, ни к послезавтраму. И тогда соседи отправились в редакцию.

— Посодействуйте. Приведите вы, пожалуйста, этого дурька в чувство.

И вот Борис Захарович появляется в комнате нашего отдела. Строгий, размеренный, недовольный.

— Если вы вздумали мстить нас,— сразу же предупреждает он,— то зря стараетесь. Мне такая жена не нужна.

— Жена сильно провинилась перед вами?

— Да, очень. Я по натуре аккуратист. У меня все в доме должно быть одно к одному. Вот у вас на столе, простите за замечание, не порядок. Газетки слева, газетки справа. А на моем столе газеткам положено лежать только слева и стопочкой. Бумаги — справа, а карандашики должны стоять в граненом стаканчике в центре и остро-остро отточенные.

Борис Берестов осмотрел редакционную комнату и спросил:

— Простите за назойливость, как часто у вас натирают полы?

— Не знаю точно, может быть, раз или два в месяц.

— Вот видите! А в моей комнате пол должен натираться два раза в неделю, и никак не реже. А она делает пропуски.

И, вытащив из портфеля толстую тетрадь в синей клеенчатой обложке, Берестов раскрыл ее и сказал:

— Только за этот год мною зарегистрировано три подобных случая: 9/II, 18/III и 4/VI. А 5/VII вместо того, чтобы натереть пол воском, товарищ Берестова прошла по нему только суконкой.

— Да вы, собственно, кого выбирали в жены: подругу жизни или полотера?

— Увы, разве товарищ Берестова может быть подругой жизни? Настоящая подруга — это прежде всего хорошая хозяйка, а Берестовой боязно давать на домашние расходы деньги. Не глядишь — она их растратит.

— У вас были прецеденты?

— Да, несколько.

И, указав пальцем на восемьдесят пятую страницу своей тетради, он сказал:

— Только в этом году моя бывшая супруга произвела два расхода без согласования со мной. 10/II ею были куплены билеты в Большой театр. Спрашивается, зачем она тратилась на билеты, если у наших соседей есть телевизор? Товарищ Берестовой достаточно было попросить у них разрешения, и она смогла бы послушать оперу бесплатно. А 2/VII товарищ Берестова делает второй расход. Она покупает на 4 рубля 50 копеек конфет «Ромашка».

— Послушайте, товарищ Берестова — взрослый человек. Она работает на заводе контрольным мастером, получает зарплату. Так неужели этот мастер не может купить себе конфет, когда ей это захочется?

— Когда захочется, не может.

— Почему?

— Потому, что это самотек. Я понимаю, у молодой женщины может появиться потребность в сладком. Так пусть она поставит об этом в известность мужа — и муж удовлетворит ее потребность организованным порядком. Конфеты в нашей семье покупаются не когда кому вздумается, а по третьим числам каждого месяца.

И, положив на стол свою толстую тетрадь, он сказал:

— Пожалуйста, полистайте мой дневник, проверьте.

Я полистал — и что же: Берестов не только покупал конфеты, но и вел поштучный учет. Вот, к примеру, как выглядела одна из страниц дневника

«23/XII куплено конфет:

прозрачных — 5 штук
монпансье — 10 штук
«Мишка на Севере» — 1 штука».

На этом учет не прекращался. Дальше в дневнике вы могли увидеть еще один итоговый подсчет:

«Итого с начала месяца мною куплено конфет:

прозрачных — 15 штук
монпансье — 30 штук
«Мишка на Севере» — 1 штука».

И, наконец, следовало последнее, генеральное сальдо:

«Итого с начала года мною куплено конфет:

прозрачных — 80 штук
монпансье — 95 штук
«Мишка на Севере» — 1 штука».

Дневник — это святая святых человека. В дневнике человек исповедуется перед самим собой, на страницах дневника он делится своими мыслями, ведет поденные записи о больших событиях, которые происходят в его жизни. А у Берестова в дневнике ничего, кроме дебета-кредита.

Я листаю дневник страницу за страницей и не понимаю, зачем человеку при здравом уме и здравом рассудке вести все эти крохоборческие подсчеты. А Берестов удивляется моему недоумению.

— То есть как зачем? — спрашивает он и тут же отвечает: — Для того, чтобы в доме был порядок. Вот прошу, обратите внимание, куда товарищ Берестова тратила деньги в мае. 17/V ею был куплен букетик ландышей. Это 50 копеек. 19/V — второй букетик. 23/V — третий. Я понимаю, вы скажете: весна, цветы... А не лучше ли было товарищ Берестовой вместо трех букетиков живых цветов купить один бумажный? При аккуратном обращении такого букетика могло бы хватить нашему семейству не на одну весну, а на целых пять.

Слушать Берестова было уже невозможно, и чтобы закончить разговор с этим малопривлекательным человеком, я спросил его:

— У вас все претензии к жене?

— Нет, есть еще. Только я хотел бы высказать их в присутствии самой товарищ Берестовой. Вы не бойтесь, я не задержу. Товарищ Берестова заранее приведена мною в редакцию для очной ставки. «Товарищ Берестова» оказалась славной, милой женщиной. Голубоглазая, русоволосая и совсем миниатюрного росточка. Рядом с высоким, официальным супругом эта женщина выглядела смущенной, в чем-то провинившейся девочкой. А супруг вводит эту смущенную женщину в комнату и, не дав ей даже оглядеться, заявляет:

— Товарищ Берестова обвиняется мною в неверности к мужу.

— Она что, изменила вам?

— Хуже. Вот у меня записано. 8/IX, в воскресенье, товарищ Берестова занималась осуждением меня с подругами в общественном месте.

— В каком именно?

— На кухне. А я стоял за дверью и все слышал.

— Что же говорила ваша жена?

— Товарищ Берестова находила во мне недостатки.

— Простите, а разве у вас нет недостатков?

— Не отрицаю, может, и есть кое-какие. Но слушать критику в своем собственном доме — и от кого! — от так называемой подруги жизни, — это извините. Жена должна всегда стоять за мужа.

Я слушал Бориса Берестова и не понимал. Ну, будь бы Берестову семьдесят — восемьдесят пять лет, можно было бы предположить, что сей почтенный старец, уснув полвека назад, до сих пор продолжал пребывать по ту сторону нового, советского быта. Но Берестову было не семьдесят лет, а всего двадцать шесть. И был он не писцом и не приказчиком в дореволюционном купеческом Замоскворечье, а работал педагогом нашей советской школы. И где только этот педагог насобирав все свои премудрости! Сам ли дошел до них или получил в наследство от родной бабушки — старой московской просвирни?



Я смотрю на Берестова, затем перевожу взгляд на его смущенную жену и спрашиваю себя, как эта живая, славная женщина могла жить целых три года под одной крышей с таким малопривлекательным человеком?

Натэлла Берестова терпеливо сносила все унижения только потому, что любила мужа. Она искренне верила, что и дневник мужа и его наставления — это все не всерьез, а «понарошку». Вот и сейчас муж говорит про жену гадости, а она смотрит на него и надеется, что наконец-то произойдет чудо, муж проснется, стряхнет с себя летаргическую одурь темного царства, покраснеет и извинится за все, что он делал, за все то, что говорил.

Натэлла не только надеялась на чудо. Три года она делала все, что могла, чтобы привести мужа в чувство. Была добра к нему, верна ему, покупала ему букетики весенних цветов. Она старалась разбудить его не только потому, что любила этого человека, но и ради него самого. Чтобы Берестов стал наконец нормальным мужем, как все его сверстники.

Ее вера в доброе, хорошее была так сильна, что мне захотелось помочь этой жене помириться с мужем. Как знать, может, она и добьется своего! И вот я начинаю уговаривать Берестова сменить гнев на милость и объяснить жене спокойно, по-человечески причину развода. А Берестов категорически отказывается от разговора с женой.

— Товарищ Берестов может узнать о причинах из моего заявления в суд.

— Как, разве вы уже подали такое заявление?

— Да, еще два месяца назад.

Это было для меня новостью.

А жене вы сказали о поданном заявлении?

— Нет.

— Почему?

И Берестов, несколько не смущаясь, отвечает:

— Видите, в чем дело... Заявления о разводах разбираются в судах долго. А у меня дом, хозяйство. Я привык к заведенному порядку...

И вот для того, чтобы не допустить расходов на прачку, натирку полов, Берестов до позавчерашнего дня ничего не говорил дома о разводе, спокойно продолжая эксплуатировать не только физические силы жены, но и ее чувства женщины, продолжая спать с ней под одним одеялом, на одной подушке.

Это было так подло, так гнусно, что несчастная женщина не выдержала, разрыдалась и выбежала из комнаты. Говорить с Берестовым было уже не о чем, поэтому сразу же после его ухода я отправился в школу, чтобы рассказать директору все, что я узнал о педагоге Берестове. А директор, оказывается, был и без меня

прекрасно осведомлен о всех малокрасивых свойствах этого человека.

— Берестов — это какое-то ископаемое, — говорил директор. — Давно прошедшее время. Половина наших учителей не подает ему руки. Старшеклассники называют Бориса Захарыча Борисом Базарычем.

— И этот Базарыч — член вашего педагогического коллектива?

— Да, а вы разве считаете нужным освободить его от работы? — удивился директор. — За что? За то, что он разводится с женой?

— Дело не только в том, что Берестов разводится. А как он разводится? Почему? Это человек низкого морального облика.

— Но ведь Берестов преподает у нас не мораль, а алгебру. У него отличные математические способности.

— Так пусть он использует свои способности при подсчете поленьев на дровяном складе, картошки в овощехранилище, процентов за бухгалтерским столом. Пусть работает где угодно, только не в школе.

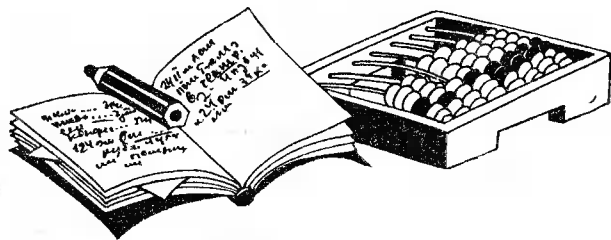
— Освободить от работы? — переспросил директор и замотал головой. — Нет, это будет слишком! Разве Берестов — растратчик? Развратник?

Создалась странная, нелепая картина. В хорошем школьном коллективе завелся человек, чужой нам по духу, привычкам, поведению. Педагоги не подают этому человеку руки и в то же время его держат в школе.

— Берестова освободить! Но за что?

Да только за одно то, что он гнусный, мерзкий и неисправимый мещанин.

Но, кажется, меня не поняли.



ОДНА СЛЕЗА



Разык Азимович пришел в райком партии за час до начала приема посетителей. Дело у Разыка Азимовича безотлагательное, и тем не менее, прежде чем заговорить о нем с помощником секретаря райкома, Разык Азимович, согласно правилам деликатного обхождения, осведомляется у этого помощника о его здоровье, о здоровье его отца, деда, родных и двоюродных братьев, племянников, сыновей. Говорит Разык Азимович почему-то вкрадчивым полушепотом, словно речь идет не о старческом кашле деда помощника секретаря и детском поносе его меньшего сына, а о секретных делах особой государственной важности.

Поговорив о членах семьи помощника секретаря, Разык Азимович не оставил вниманием и самого секретаря:

— Как здоровье Абдувахида Хасановича, его уважаемого отца, его братьев...

Но помощнику уже надоел вкрадчивый полушепот дотошного посетителя, и он в нарушение этикета оборвал его.

— Простите, некогда.

— А как настроение Абдувахида Хасановича? — не унимался посетитель. — Приветлив ли он? Не раздражен ли чем?

Разык Азимович Разиков задавал все эти вопросы неспроста. Он так много шкодил в последнее время, этот самый Разиков, что ему было боязно попадаться секретарю под сердитую руку.

Но бояться шkode сегодня, оказывается, нечего. Абдувахид Хасанович Хасанов был с утра и в добром здравии и в хорошем настроении. Это обстоятельство вселяет надежду в сердце Разыка Азимовича. Он улыбается помощнику и так с застывшей на лице улыбкой направляется к двери кабинета.

— Разрешите войти?

А секретарю райкома достаточно было только услышать подострастный медоточивый голос Разакова, как от хорошего секретарского настроения не осталось и следа. Секретарь выпаскивает папку с «делом» Разыка Азимовича и начинает строгий, нелюдуприятный разговор.

Разакову доверен ответственный пост — заведующего райфо. Этот заведующий должен как будто бы стоять на страже государственных интересов. Контролировать, поправлять ошибки других. А Разык Азимович сам занялся очковтирательством. Он хвалил себя за работу, которую он делал, писал о достижениях, которых не было.

Зав. райфо оказался не только очковтирателем, но и греховодником. Он пытался организовать при своей особе нечто вроде гарема. Разык Азимович сделал даже одной из своих сотрудниц грязное предложение и получил в ответ звонкую пощечину.

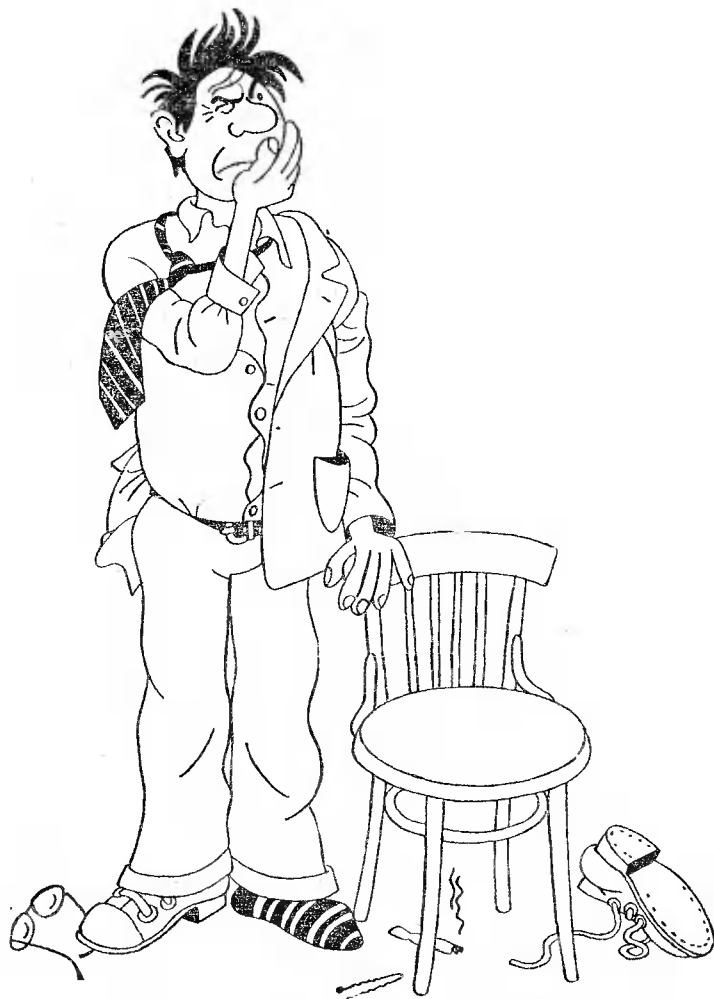
Секретарь райкома полон негодования. Секретарю хочется выставить этого нечистоплотного гражданина за дверь. Но секретарь не выставляет, он смотрит в лицо Разакову и не узнает его. Вместо широкой, дежурной улыбки на этом лице теперь застыли скорбь и печаль. Разаков ни от чего не отказывается. Ни в чем не оправдывается.

— Да, занимался припиской. Да, получил пощечину.

Разык Азимович смотрит на секретаря взглядом обреченного человека, и из его глаза скатывается вниз на пол слеза. Всего одна. Но ее одной хватило, чтобы внести смятение в душу секретаря. Секретарь бросается к графину с водой. Вместо того, чтобы ругать очковтирателя, секретарь ругает в душе себя. Не был ли он слишком суров с этим Разаковым? Не сказал ли чего лишнего?

Мужская слеза выбила секретаря из привычной колеи, обозорижила его. Разаков ушел, а секретарь райкома все еще вне себя. Конечно, оставлять Разакова в райфо дольше нельзя. Однако ему нужно дать возможность исправиться. Но где? Две недели думал секретарь и наконец пришел к заключению, что наиболее подходящим местом для исправления антиобщественных черт характера зав. райфинотделом будет пост директора швейно-трикотажной фабрики.

Так наступил второй этап в жизни и деятельности Разыка Разакова, и продолжался этот этап примерно около года. Однако старые антиобщественные черты характера вместо того, чтобы исчез-



нуть, обросли за это время новыми, не менее отвратительными. Очковтиратель стал грубияном, фанфароном. Он ни с кем не желал считаться. Ни с людьми, ни с общественными организациями. Для Разакова на фабрике был только один авторитет — сам Разаков. Ему ничего не стоило накричать на рабочего, оборвать его на собрании, выставить из кабинета инженера. Мало разбираясь в тонкостях швейного и трикотажного производства, он вмешивался в технологический процесс, менял размеры, раскрой. Брак рос не по дням, а по часам.

Над головой Разыка Азимовича сгустились тучи. И снова ему пришлось идти в райком, снова менять свой малоприятный бас на медоточивый полусшепот. И он сменил. И он пошел. Вежливо поклонился уборщице, поздоровался за руку с курьером.

— Как здоровье? Ваше? Вашего драгоценного отца? Старшего сына?

Так с широкой улыбкой на лице он снова входит в кабинет секретаря.

— Ну теперь Разыку Разакову несдобровать, не вывернуться, — говорит кто-то из сидящих в приемной.

И он в самом деле не вывернулся бы. Но... искусство сценического перевоплощения было доведено у Разакова до совершенства. Разакова ругают, называют бюрократом, грубияном, а он стоит и только обреченно хлопает своими длинными, пушистыми ресницами. На этот раз Разаков даже не льет слез. Он ждет, пока секретарь выговорится, успокоится. Затем выдерживает паузу и, бросив трагическим полусшепотом три слова, уходит.

— Жена, дети. Простите.

Бракодел и очковтиратель и в самом деле отец большого семейства. У него три сына и четыре дочери. Ну, как такого не пожалеть?

Разыку Азимовичу на сей раз была подобрана для исправления недостатков должность директора базовой столовой № 28. Эта столовая должна была снабжать горячими обедами и завтраками городских школьников. Отец большого семейства, кому как будто бы, как не ему, и поручить такую почетную, благородную задачу. Но, как выяснилось позже, отец большого семейства не любил детей. Ни своих, ни чужих. В результате работа школьных буфетов была сорвана. Продукты, предназначавшиеся для детей, раскрадывались, портились на складе.

Отдел торговли решил снять негодного директора с работы, а бюро райкома партии добавило: не только снять его, но и послать на низовую работу.

После этого заседания бюро прошло всего два дня, и в приемной секретаря снова появился Разаков.

— Как здоровье? Ваше? Вашего отца?

В какой роли предстал на этот раз перед секретарем мастер

сценического перевоплощения, мы не знаем, только вместо низовой работы Разык Разаков снова очутился на посту директора уже не столовой, а лесного склада.

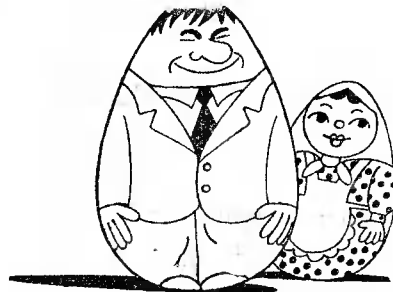
— Я заявил протест против такого назначения, — сказал прокурор района, — но с моим мнением не посчитались.

Разаков работал в этом далеком горном районе во многих организациях. Был финансистом, кулинаром, швейником. Стоял во главе лесных, мукомольных, снабженческих организаций. Он раз десять «тонул» и столько же раз снова всплывал на поверхность. В районе его так и зовут — «Ванька-встанька». Местная газета посвятила деятельности Разакова немало фельетонов. По материалам этих фельетонов можно было бы написать роман о никчемном директоре. Но... фельетоны печатаются, а никчемный директор продолжает оставаться директором.

— Сердечный, добрый человек наш секретарь райкома. Разаков — глава большой семьи. На его иждивении не только три сына и четыре дочери, но и тесть с тещей, два племянника, племянница, вот в чем дело, — говорят жители района.

Добрый секретарь. Но ведь эта доброта за чужой счет. За счет дела, которое проваливает Разаков. За счет людей, которым он грубит, за счет детей, которых он лишает горячих завтраков.

Написал я этот фельетон и подумал: а не постигнет ли и его злая участь всех предыдущих фельетонов о Разыке Разакове? А может, нет? Может, на этот раз никчемному директору будет предоставлена возможность излечиться от антиобщественных черт своего характера не на ответственной, а на какой-нибудь сиромной низовой работе, как это и рекомендовал райком партии.



ДЕЛО О ПОЩЕЧИНЕ



Анатолий Кишкун, студент четвертого курса географического факультета, дружил со студенткой Ольгой Пискуновой. Ольга аккуратно посещала лекции, вела подробные конспекты. Анатолий (студенты звали его интимней — Толик) учился так себе, конспектов не вел. Да и зачем Толику было тратить время, писать свои конспекты, если он мог одолжиться у Ольги? Придет к ней вечером, полистает тетрадку с записями лекций, выпьет чаю тройной заварки, закусит булочкой или бутербродом. Друг Толик дружил с другом Ольгой три семестра кряду, а на четвертый, не объясняя причин, порвал с Ольгой всякие отношения и стал ходить листать конспекты, пить чай тройной заварки к студентке Розии Усмановой, проживавшей этажом ниже.

Коварное поведение друга Толика обидело друга Ольгу. Студентка-отличница потеряла вкус к учебе и вместо пятерок стала получать двойки. Среднеарифметическая успеваемость группы № 11 пошла к низу, и староста группы Григорий Джикия прибежал в редакцию:

- Толика Кишкуна нужно вывести на чистую воду. Толик кружит головы, обманывает студентов.
- Пусть студентки сами не будут дураками! Зачем они липнут к прохвосту, поят его чаем?
- У прохвоста прекрасные данные.
- Какие?

— Антропометрии и спирометрии. Рост — 184 сантиметра. Объем груди свыше 7 тысяч кубиков и вдобавок глаза карие, с поволокой. Данные антропометрии меня не интересовали. Вот если бы узнать, что делается в душе Толика...

— Если нужно, могу узнать, — сказал Гриша Джикия.

— Как?

— Проведу эксперимент, кину Толику крючок с приманкой...

Эксперимент Гриши Джикия был и прост и хитроумен одновременно. Гриша пустил в своей группе слух, будто Ольгу Пискунову постигло несчастье вкупе со счастьем. После тяжелой и продолжительной болезни у Ольги якобы умер дядя, заслуженный деятель наук профессор Преферансов. Дядя-профессор оставил племяннице-студентке в наследство дачу в Апрелевке и машину «Волга». Через день новость, сочиненная Гришей Джикией, распространилась по всему институту.

Подруги, встречая Ольгу, обнимали, целовали, спрашивали, что она, студентка, будет делать с богатым наследством — дачей в Апрелевке и «Волгой». И Ольга отвечала так, как научил ее староста группы:

— Пока не знаю. Пройдут сороковины — решу.

Закинув удочку с привадой, Гриша ждал, когда начнется клев. А Толик Кишкун, прежде чем кинуться за червячком, решил полистать «вечерку», проверить, были ли там какие-нибудь сообщения о смерти Преферансова? Были! Заметка в траурной рамке. Коллеги-ученые так тепло говорили в заметке о щедром, отзывчивом сердце Преферансова, что Толик прямо из библиотеки пошел в атаку на наследницу.

В тот же день, словно случайно, друг Толик встретил друга Ольгу. Он улыбнулся ей и сказал:

— Давай помогу — донесу книжки до общежития.

— А что если встретится Розия?

— Вспомнила! Я про Розию и думать забыл.

— Почему?

— Люблю только тебя.

И, обняв за плечи друга Ольгу, друг Толик начинает шепотом советовать неопытной девушке, как лучше распорядиться наследством, пока тетя Преферансова не приняла контрмер против дядиного завещания:

— Прежде всего заведи «Волгу» из профессорского гаража.

— Заберу, а куда дену?

— Поставим машину во дворе мужского общежития. Я буду присматривать за ней из окна. Сторожить.

— Перекидывать свои заботы на чужие плечи? Нехорошо!

— Почему чужие? Пойдем завтра в загс, и мои плечи станут твоими...



— Не хочу омрачать память усопшего. Пока не кончатся сороковины, в загс не пойду.

Сверившись с тем же номером «Вечерки», Толик подсчитал, что сороковины кончатся 15 августа, значит, шестнадцатого друг Ольга может, не омрачая памяти усопшего, пойти с другом Толиком в загс, а семнадцатого молодая жена отправится в нотариальную контору и оформит мужу доверенность на право совладения и управления «Волгой».

Но 17 августа Толику не была выдана доверенность на право совладения и управления «Волгой», так как еще 14 августа друг Ольга вместо того, чтобы наполнить чашку очередной порцией крепко заваренного чая, кинула чашку в голову жениху, с шумом выставив его за дверь.

На следующий день опозоренного жениха вызвали на заседание комсомольского комитета, где староста группы № 11 Гриша Джикия сделал сообщение о результатах проведенного им эксперимента.

— Прохвост! — резюмировал сообщение комсорг.

— Прохвост! — подтвердили члены комитета.

И, хотя мнение у членов комитета было единодушным, предложения о мерах наказания прохвоста они внесли разные.

— Исключить, — предложили одни.

— Хватит с него и строгача, — сказали другие. — Толик сделает из случившегося нужные выводы и перевоспитается, станет порядочным человеком.

Друг Толик не перевоспитался, не стал порядочным. С Олей Пискуновой он поддерживал дружбу семь месяцев. С Розией Усмановой — восемь, а потом надоела и Розия, и Толик перенес внимание на первокурсницу Надежду Бомбардову. Покинутая Розия вынуждена была написать в ректорат заявление, последняя фраза которого читалась так:

«Часто мы допоздна задерживались с Анатолием Кишкуном за учебниками и конспектами, в результате чего я скоро должна стать матерью, в связи с чем прошу дать мне академ. отпуск сроком на год».

В дни, когда ректорат решал, что делать с полученным заявлением, староста группы № 11 Гриша Джикия, встретившись утром перед началом занятий с другом Толиком во дворе института, спросил:

— Как ты поступишь теперь с Розией, женишься?

— Новое дело! Подружили — и хватит с нее!

— Дружба! Какое хорошее слово, и как подло ты обходишься с ним!

— Сердцу не прикажешь. Любил прежде Розию, дружил с ней. Полюбил сейчас Надю, буду дружить с ней.

Циничный ответ возмутил Гришу Джикия. Впечатлительному комсомольцу захотелось влить пощечину прохвосту. А прохвост, увидев в воротах первокурсницу Надю, кинулся ей навстречу. Староста догнал Кишкуна, встал между ним и Надей, крикнул:

— Защищайся, гадина!

И здесь, перед воротами пединститута, вторично произошла схватка, описанная в святом писании под титулом: «Бой Давида с Голиафом». Рост у Толика был, может, и не совсем голиафский, но тоже дай бог — 184 сантиметра. А у Гриши Джикия — всего 159. Чтобы дотянуться до щеки Толика, Грише пришлось бить с припрыгом. Удар получился несильным, тем не менее Кишкун взвыл от возмущения. Еще бы, его публично называли гадиной, публично дали пощечину, да еще на глазах предмета его страсти студентки Нади Бомбардовой!

Кишкун рассвирепел и пошел в наступление на маленького Гришу Джикия, а тот смотрел на пудовые кулаки и только хлопал печальными восточными глазами. Ничего более существенного для защиты при своих скромных антропометрических данных он сделать, конечно, не мог.

Плохо пришлось бы Грише Джикия, не окажись тут во дворе студенты группы № 11. Студенты слышали диалог, который произошел между Давидом и Голиафом, и сказали Голиафу:

— Не троны!

Голиаф вскипел, выругался, студенты не остались в долгу. Двое взяли друга Толика за руки, двое за ноги и несколько раз макнули его носом в жирную холодную лужу. А после купания друг Толик был предупрежден: если он и впредь будет ошиваться и кружить голову первокурснице, то в следующий раз его ткнут носом уже не в лужу, а о порог парадного входа в институт.

В этот же вечер Грише на дом позвонил разгневанный комсорг и велел прийти пополуночи в комсомольский комитет для ответа. Я пришел к секретарю на час раньше, чтобы выяснить, чем вызвано его недовольство честнейшим Гришей Джикией.

— Подвел, сильно подвел нас Гриша, — сказал комсорг. — Мы готовили большое комсомольское собрание, чтобы обсудить поведение Кишкуна, выгнать прохвоста из комсомола. И теперь вынуждены это собрание отложить...

— Почему?

— Кишкун сделал контрвыпад. Подал в райком заявление, в котором доказывает, что он не виновник, а пострадавший.

— Контрвыпад не поможет прохвосту. Райком разберется что к чему!

— Все равно Гриша Джикия не должен был устраивать мордобой.

— Это не мордобой, а только рыцарская пощечина.

— Как, вы оправдываете рукоприкладство?

Нет, я не оправдываю рукоприкладства, я за более интеллектуальные меры воспитания и перевоспитания. Так я и сказал комсоргу.

— В четверг мы будем разбирать «дело о пощечине» на заседании комитета, — сказал, отвечая мне, комсорг. — Не знаю, какой точки зрения будут придерживаться члены комитета, лично я придерживаюсь самой крайней: дать всем сестрам по серьгам — всех шестерых виновников исключить из комсомола. Анатолия Кишкуна за нетоварищеское отношение к девушкам, Григория Джикия и его четверых товарищей из группы № 11 за учиненный мордобой. А у вас какое мнение?

У меня было совсем другое мнение. Я решительно против того, чтобы ставить знак равенства между отъявленным прохвостом и честными, хорошими парнями.

Согласен, Толика Кишкуна нужно гнать в три шеи из комсомола. Сделать это, кстати, следовало еще в прошлом году, когда друг Толик собирался на глазах всего факультета жениться на бежевой «Волге» профессора Преферансова. Кстати, выгнать не только из комсомола, но и из института. Ну какой Кишкун педагог!

Тут крайние меры уместны, справедливы. А зачем искусственно создавать «дело о пощечине»? Дела-то никакого не было и нет! А что есть? Есть пятеро хороших, излишне горячих студентов группы № 11, которые под влиянием добрых, товарищеских чувств кинулись на защиту обиженных девушек. Тут комитет вполне может обойтись без силовых средств, тем более хирургических. Виновникам следует объяснить по-доброму, по-товарищески, что комсомольцам не след применять пощечины, не след макать прохвостов в лужи, так как у комсомола есть более эффективные и более культурные меры воздействия на плохо воспитанных молодых людей вообще и молодых прохвостов в частности.





ПОЖАЛЕЙТЕ МАРИНУ!

Весь день имя Георгия Корниловича Мосцицкого не давало покоя работникам юридического института. По поводу этого имени звонило превеликое число всяких ответственных и полуответственных сотрудников главка товаров широкого потребления и все с одной просьбой:

— Не отправляйте Георгия Корниловича из Москвы, он очень нужен нашему главку.

Наконец к вечеру запыхавшийся курьер принес в дирекцию института официальную бумагу. «Георгия Корниловича направьте в наше распоряжение».

Кто же такой Георгий Корнилович, и почему он так экстренно понадобился главку? Может быть, Георгий Корнилович академик, и начглавка ищет помощи и совета этого маститого ученого по вопросам производства товаров широкого потребления?

Да ничего подобного! У Мосцицкого отродясь не было ни учености, ни маститости. Мосцицкому было всего 21 год. Товарищи зовут его не Георгием Корниловичем, а много проще. Одни —

Юрой, другие — Жорой. Тогда, по-видимому, этот самый Юра-Жора учится в каком-нибудь текстильном или кожевенном институте, и начальник главка спешит законтрактовать будущего специалиста по производству ширпотреба за своим главком? Тоже нет. Мосцицкий учится в юридическом институте, а это учебное заведение, как известно, готовит не текстильщиков и не кожевников, а судебно-прокурорских работников. Как ни странно, а именно этот контингент работников с недавних пор вдруг позарез понадобился разным московским учреждениям и организациям, весьма далеким от дел уголовных и следственных.

Дирекцию юридического института донимают сейчас звонками не только работники главка промышленных товаров широкого потребления. Министерство угольной промышленности просит командировать к ним студентку Кигель. Министерство путей сообщения — Махлину. Министерство нефтяной промышленности — Криворучко. Будущих следователей и прокуроров стали с легкой руки разных завов и замзавов переквалифицировать не только в нефтяников и железнодорожников, но и в корректоров, живописцев, спортсменов. Директор «Углетехиздата» требует командировать к ним студента Кривенко, директор Московской скульптурно-художественной фабрики № 2 — студентку Качановскую, а председатель московского городского совета общества «Спартак» — студента Залипахина.

— Почему будущие прокуроры должны становиться корректорами и футболистами?

На этот вопрос отвечает письмо, случайно попавшее в руки студентов и пересланное к нам в редакцию. Вот оно:

«Дорогой Петр Григорьевич! (Он же дядя Петя.) Пишет тебе «Планетарий» (он же дядя Костя). Поздравляю с наступающим праздником 1 Мая и желаю здоровья тебе и глубокоуважаемой твоей супруге Марии Васильевне... Как всегда бывает в таких случаях, я обращаюсь с великой просьбой: дочь моя Марина завершила все экзамены последнего курса юридического института. Марине — 23 года. Она на хорошем счету в институте. Комсомолка. Общественница. Хорошо поет! (Где-то сядет?) Это меня и беспокоит. Вот-вот должно быть распределение, и ее любезно обещают за то, что она получала стипендию, послать куда-нибудь подальше... ну, например, на Алтай, и проч. Иными словами, ее хотят «доконать» в деканате. Прошу тебя изобрести что-нибудь такое, что послужило бы ей спасением, то есть придумай запрос в адрес дирекции института для оставления ее в Москве или Ленинграде».

Не надеясь на прозу, дядя Костя решил воздействовать на чувства дяди Пети стихами собственного сочинения:



«Я знаю, Петя, с давних пор
Ты очень важный прокурор...
Тебя с супругой я люблю,
Целую крепко и молю:

Не наноси удар мне в спину
И пожалей мою Марину!
Ты перед ней, о прокурор,
Зажги московский семафор.
Твой до гроба дядя Костя».

Расшифруем псевдонимы: «дядя Костя» — это кандидат физико-математических наук Листовский, сотрудник астрофизического института, а «дядя Петя» — работник прокуратуры Петр Григорьевич Петров.

Нужно отдать справедливость прокурору Петрову: он устоял перед стихами кандидата физико-математических наук и не послал запроса директору института. А вот начальник главка производства ширпотреба Онанов, к его стыду, не устоял. И не только он один. Комиссия по распределению молодых специалистов юридического института решила направить Калерию Златкину следователем в Марийскую АССР. А родители Златкиной — ни в какую!

«Зачем нашей дочери уезжать из Москвы, — подумали они, — если у нас есть именитые знакомые?»

И вот на свет появилось еще одно послание:

Я знаю, Туркин, с давних пор
Ты важный генерал-майор...

Важный генерал-майор клюнул на лесть. Он послал директору института запрос с просьбой оставить К. Златкину в Москве в распоряжении управления, в котором Туркин занимает видный пост.

В тот год, когда писались эти строки, юридический институт направил в московские учреждения по запросам их руководителей семь своих воспитанников. Я решил проверить, что же делают будущие прокуроры на чужой и неинтересной для них канцелярской работе. И что же? Из семерых выпускников только один оказался на месте, а остальные даже не появлялись там, куда их направили.

Что же делали они весь год? Ничего. Каждый пробавлялся чем мог. Этим выпускникам важно было не кем работать, а где работать. Дяди помогли им остаться в Москве. И вот они служили. Кто переписчиком, кто управдомом, а кто и вовсе ничего не делал, живя с дипломом на иждивении родителей.

Сейчас все повторяется сначала. Не успела комиссия по рас-

пределению молодых специалистов приступить к работе, как со всех сторон посыпались запросы.

Я спросил директора швейной фабрики имени 8 Марта:

— Разве юрист Напалков умеет шить или кроить?

— Нет, шить он не умеет.

— А зачем вы прислали на него запрос?

Директор развел руками и честно сознался:

— Попросила мать Напалкова у меня протекции, а я не смог ей отказать.

Протекция. В давно прошедшие времена по протекции именитых родственников дворянские и купеческие сынки получали богатые подряды и откупы, устраивались на службу. Мы, по совести, успели даже и забыть о таком гнусном слове, как протекция а вот кое-кому это слово потрафило, и они решили воскресить его.

Тебя с супругой я люблю,
Целую крепко и молю:
Не наноси удар мне в спину
И пожалей мою Марину...

Вам бы взять и подумать, товарищи Онановы, Туркины и другие дяди — любители протекции, а не наносите ли вы сами своей протекцией удар в спину Марине?



Прежде чем опубликовать в «Комсомольской правде» свой первый фельетон, я напечатал не меньше полусотни очерков и корреспонденций. В те годы в нашей газете работало много талантливых очеркистов: Сергей Диковский, Алла Крылова, Сергей Крушинский, Евгений Воробьев, Николай Том (Кабанов), Евгений Кригер, Елена Кононенко, Зиновий Румер, Юрий Жуков, Михаил Розенфельд, Евгений Рябчиков, Зиновий Чаган... Иногда в одном номере печаталось по два-три очерка сразу. На второй странице — очерк производственный, на третьей — морально-этический, на последней — спортивный или научный... Читатели любили очерки, обсуждали их. Производственный очерк вызывал по сто — двести откликов, а на очерки, трактующие морально-этические темы, приходило и больше откликов: тысяча — полторы тысячи. Я, как и другие очеркисты «Комсомолки», ходил именинником. Как будто хорошо!

И вдруг сладкой моей жизни приходит конец.

Как-то утром к нам в отдел заходит главный редактор, смотрит на меня, говорит:

— Выручай, друг Сенечка. Вызволяй из беды!

— В завтрашний номер нужно срочно написать очерк?

— В завтрашний номер у редакции имеется семь очерков и ни одного фельетона. Возьмись, напиши.

— Так сразу?
— Пиши не сразу. Приноси через неделю.
— А вдруг не получится?
— Берись, старик, пробуй свои силы. Уж больно хочется, чтобы в нашей газете, как в «Правде», рядом с очерком печатались и фельетоны.

Главный высказал предложение и ушел. Я поворачиваюсь к друзьям-очеркистам, жду, что скажут они, а друзья не говорят ни «да», ни «нет», только Сережа Крушинский ведет меня к окну, говорит:

— В очерке, Сенечка, ты если еще не стопроцентный мастер, то какой-никакой подмастеришка. А учиться писать фельетоны ты должен начинать с азов...

— Ну и начну,— брякнул я по-мальчишески, не подумав, и кинулся вниз головой в омут. Сочинил и понес главному свой первый фельетон. Напечатали. Потом написал второй, третий, четвертый. Жду, когда друзья-очеркисты соберутся, выскажут свое мнение. А они не собираются, сердятся, зачем изменил дорожку их сердцу жанру. Тогда я стал вызывать ребят на разговор. Встречу кого в редакционном коридоре, стукну кулаком в грудь, спрашиваю:

— Ну как?
А ребята снисходительно пожимают плечами:
— Ничего...

А как понимать это ничего: ничего — хорошо, или ничего — плохо? Неизвестно. Я разозлился и решился на отчаянный шаг — пойти к Мих. Кольцову и узнать его мнение о своей работе. Но Мих. Кольцов, не Мих. Розенфельд, не Юр. Жуков. Встретившись в редакционном коридоре, его не стукнешь кулаком в грудь, не спросишь, как комсомолец комсомольца:

— Ну как, коллеги?

Да и какой я коллега Мих. Кольцову! Кольцов метр. Признанный лидер советских фельетонистов, а я еще даже не подмастеришка!

Я с Мих. Кольцовым ни разу не встречался, ни разу не говорил. Хотя вру, одна встреча была. Состоялась она в мае 1925 года, накануне выхода первого номера тогда еще не существовавшей «Комсомольской правды». Мих. Кольцов обещал молодежной газете в первый номер фельетон. Обещал не мне, а редактору. На меня же как на самого младшего по возрасту сотрудника были возложены другие, более скромные обязанности. Добежать с Ваганьковского переулк, где располагалась в то время редакция «Комсомолки», до Тверской улицы, где была редакция «Правды», и доставить в «Комсомолку» для посылки в набор тот обещанный нам фельетон. Я хотя и значился по редакционным спискам литературным сотрудником, а не рассыльным, на полученное курьер-

ское задание не обиделся. Наоборот, был даже горд. Еще бы, это задание давало мне возможность встретиться, познакомиться с журналистом Мих. Кольцовым, моим кумиром, из-за фельетонов которого я уже с тринадцати лет стал выписывать московскую «Правду» по своему домашнему адресу: Ташкент, Гоголевская улица, дом № 56. Одним духом добегаю до Тверской, взлетаю по лестнице на верхний этаж и останавливаюсь на пороге комнаты, в которой работает Мих. Кольцов. Стучу в дверь и хотя не слышу в ответ приглашения «Входите», вхожу. Комната пуста, тем не менее я остаюсь в ней. Шарю любопытным взором вокруг. Меня все интересует здесь. Стол, за которым работает Кольцов, стул, на котором он сидит. Стул самый обычный, такой же, как у нас в комсомольской редакции, и я все же сажусь на него, проверяю, как ведет себя этот стул не порожняком, а под всадником. Сел, увидел на столе ручку, не вечное перо системы «Монблан», которое начало в те годы входить в моду, нет. Я вижу обычную деревянную вставочку, которой пишут школьники, и спешу макнуть ее в чернила. Макаю и пишу на чистом листе бумаги: Мих. Кольцов. И за этим не совсем красивым занятием меня застает врасплох хозяин комнаты.

— Так, так! — говорит он, неожиданно открывая дверь. Я вскакиваю с чужого стула, начинаю глупо оправдываться:
— Простите, очень хотелось попробовать перышко, которым вы пишете свои фельетоны. Перышко хорошее.
— Раз понравилось, берите на память.
— Зачем? Не нужно. Я просто случайно взял в руки вашу вставочку.
— Вы, собственно, кто?
— Сотрудник «Комсомольской правды», прислан за фельетоном, который вы нам обещали.
— Простите, фельетон еще не готов.
— Ох! — вырвалось у меня.
— Зря охаете. Через час фельетон будет готов. Вы пока пройдите в вестибюль, посидите, подождите.

Я пошел, но до вестибюля не дошел, так как столкнулся в коридоре лицом к лицу с рыжеусым мужчиной, который шел в обнимку с пишущей машинкой в комнату, из которой я только что вышел.

Вот это да! Я оскрамился да еще как! Проверил перо, которым писал Мих. Кольцов, а перо, оказывается, лежало на письменном столе для мебели, ибо Мих. Кольцов не писал свои фельетоны, а диктовал их прямо на машинку. Это было для меня в новинку. Мне было всего семнадцать, это, однако, не мешало мне считать себя бывалым журналистом. Еще бы, я приехал в Москву не откуда-нибудь, а из самого Ташкента, где два года юнкорил в комсомоль-

ской газете. У нас в то время работали, правда, не в комсомольской газете, а в партийной, республиканской, такие первоклассные фельетонисты, как Мих. Дир (Рогов), Эль Регистан и Леонид Ленч, но я не слышал, чтобы кто-нибудь из них диктовал фельетон на машинку. Да что фельетон, заставь меня продиктовать на машинку не фельетон, а обычную пятистрочную заметку, я бы замолк, поперхнулся уже на втором-третьем слове. А Мих. Кольцов диктовал не отдельными словами, а целыми фразами. Отдиктует до точки, остановится, обдумает следующее предложение. Паузы были разной длины, на десять секунд, полминуты. Чутко помолчит автор и снова диктует. На моих глазах совершалось чудо, рождался фельетон. Конечно, не на глазах, ибо я стоял за дверью и ничего не видел... Зато я все слышал, так как все время, пока диктовался фельетон, стоял в коридоре, боясь проронить хоть слово. С того дня прошло сорок семь лет, а я до сих пор помню первую фразу фельетона «Проект Владимира Шифера», напечатанного в первом номере «Комсомолки». Вот она: «Письма я получаю разные».

Таким образом, прежде чем прочесть фельетон Мих. Кольцова, предназначенный для еще не родившейся «Комсомольской правды», я прослушал его от первой до последней фразы в исполнении самого автора. Автор, как вы, очевидно, помните, сказал:

— Через час фельетон будет готов...

Фельетон был готов не через час, а через два, и все равно здорово. И вот прозвучала последняя фраза фельетона. Рыжеусая машинистка, вернее, машинист, отстукивает последнюю точку и, обняв свой «Ундервуд», выходит в коридор. Говорит мне:

— Входите!

Вхожу и получаю из рук Мих. Кольцова готовый фельетон, галопом говорю «Спасибо» и галопом устремляюсь к себе на Ваганьковский переулочек. И этот галоп подводит меня. Из-за глупой спешки я забываю взять перо, подаренное мне Мих. Кольцовым. Ах, как я ругал себя за забывчивость не в тот день, а через много лет спустя, когда стал старше! Конечно, я знал к тому времени твердо, что Мих. Кольцов писал свои фельетоны не обычной вставочкой, а диктовал их на машинку. Пусть не писал, а мне все равно было жалко провороненного подарка. Не только мне, но и моим сыновьям и даже моим внукам было бы приятно, если бы на письменном столе их отца и деда лежало бы сейчас то самое перо, которое в далеком двадцать пятом году лежало рядом с чернильницей самого Мих. Кольцова.

Вторая встреча с первым фельетонистом «Правды» состоялась много позже, и не в редакции, а в Доме печати. Захожу под выходной в ресторан и вижу за столиком Михаила Ефимовича. Подхожу, спрашиваю:

— Разрешите сесть?

— Пожалуйста.

После первой встречи прошло около восьми лет. Конечно, ни той встречи, ни меня самого Мих. Кольцов уже не помнил. Он подвинул мне меню и спросил:

— Что возьмете, цыпленка под лимонным соусом или шашлык по-карски?

— Ни то, ни другое. У меня тайный умысел. Я пришел в ресторан не ужинать, а узнать ваше мнение.

— О чем?

Я назвал свою фамилию, спросил:

— Может, доводилось вам, Михаил Ефимович, читать мои опусы в «Комсомольской правде»?

— Могу даже сказать, что читал: «Рассказ о ведущих шестернях», «Нату».

— Это старое увлечение, очерки. А теперь я начал писать фельетоны.

— Давно начали?

— Да нет! Написал всего четыре фельетона, а как получается, не знаю.

— Милый, я написал не четыре, а не меньше тысячи и тоже не знаю, как получается. Не ленитесь, пишите, как можно больше. Печатайтесь два-три раза в неделю. Ищите себя. А пока ваши фельетоны, не в обиду будь вам сказано, не ваши.

— А чьи? — зло спросил я.

— Один написан под Заславского, второй — под Зоценко, третий — под Кольцова... Деритесь за свое «я» в фельетоне. У каждого фельетониста должен быть собственный почерк. Когда вы найдете свой, приходите. Поговорим!

— Когда приходите, когда напишу тысячу фельетонов?

— Неважно сколько! Сто, двести. Главное, чтобы это были ваши, ни на какие другие не похожие фельетоны.

На этом мой второй разговор с Мих. Кольцовым окончился, и я в ожидании третьего стал усиленно писать фельетоны. Пятый... десятый... двадцатый... Те ли я писал опусы, которые имел в виду Мих. Кольцов, или не те, мог сказать только он сам, но я дал себе твердое слово не ходить на консультацию в «Правду», пока не напишу своего, конечно, не тысячного, а хотя бы двухсотого фельетона.

Я писал и считал. Двадцать, сорок, еще двадцать... Наконец, написан заветный двухсотый фельетон. Можно как будто звонить в «Правду», договариваться о третьей встрече. А звонить было некому. Мих. Кольцова не было уже в живых.

Главный разговор о характере моих фельетонов, к которому я стремился и которого так ждал, таким образом, не состоялся. Но

были полуглавные. Об одном из таких разговоров я и хочу рассказать сегодня.

В конце сороковых годов мне должно было стукнуть сорок.

— Дата круглая,— сказал редактор.— А что, Сенечка, если нам издать к этой дате книжку твоих фельетонов? Давай подбери подходящие и неси на прочтение членам редколлегии.

Я, как и всякий другой фельетонист, давно мечтал о такой книге, исподволь откладывал копии своих опусов в отдельную папку. Опусы лежали в том же порядке, как и печатались, — от номера первого до номера самого последнего. Все как будто в порядке, фельетоны собраны, автору остается сделать совсем немного. Перечитать написанное заново, расставить недостающие точки и запятые и нести рукопись в издательство. Дело обстоит, оказывается, не так просто, как казалось поначалу. Не все опусы, которые печатались в газете, годились для книги. Я читал и выбирал фельетоны, написанные, как мне казалось, крепко. Таких было мало. Прибавил к крепким полукрепкие и пошел к редактору. Тот взвешивая папку на руке, сказал:

— Хлипковато!

— Хотел сделать книжку потолще, не получилось.

И я сказал о статистических итогах, которые получились у автора после прочтения двух сотен своих опусов. А итоги были не радостными. На десять моих фельетонов, напечатанных в газете, приходился всего один крепкий. Два были полукрепкими, а семь выглядели и так и сяк.

Главный прочел за ночь книжку и утром переслал ее директору издательства, не перекраивая, а про мои статистические выкладки сказал:

— Молодец, Сенечка, что все средненькое забраковал. В конце концов читатель говорит спасибо и автору и редакции только за крепко скроенные фельетоны. Хочешь, чтобы у тебя в следующий раз было десять попаданий в центр мишени из десяти?

— Еще бы!

— Тогда давай заключим договор. Ты будешь писать, а мы печатать только отличные фельетоны, а все остальное ты и не показывай, бракуй на корню сам.

Кто из фельетонистов не хочет писать только отличные фельетоны?

Я сказал:

— Хорошо.

Мы с главным пожали друг другу руки, решив с этого дня работать по-новому. Не знал я, не думал, что именно с этого дня начнутся мои мучения.

Прежде я сидел за рабочий стол с легкой душой, думая не о будущих отметках, а о человеке, которого я должен был взять

под защиту, или о бюрократе, которого предстояло раскритиковать, вывести на чистую воду. Бывало, напишу удачную фразу и начинаю хлопать в ладоши и напевать, как делал Александр Сергеевич, закончив «Бориса Годунова».

— Ай да Пушкин, ай да сукин сын!

А теперь я писал фразы тяжело, с одышкой, точно тащил в гору телегу с камнями. Десять раз зачеркивал написанное, писал все заново. Но и написанное в десятый раз не нравилось мне. Прежде я печатал в месяц в газете четыре-пять фельетонов, а в тот месяц, когда был заключен договор, ни одного. Главный вызывает, спрашивает: где фельетоны?

— Не получают!

— Почему получались прежде?

— Один из десяти!

— Неси десятый!

— И этот тоже теперь не получается.

— Что будем делать?

— Не знаю!

— Зато знаю я. Новый договор расторгается. С сегодняшнего дня в силу входит старый. Автор будет писать фельетоны, а редактор решать, что делать с ними. Печатать или кидать в корзину. Согласен?

— Согласен!

Гора свалилась с плеч. И как только автор перестал думать о будущих отметках, в его руке вновь появилась уверенность, легкость, и он после удачно сочиненного опуса начал вновь, по примеру классика, петь, прихлопывая:

— Ай да Пушкин, ай да сукин сын!

Любопытный вывод сделал автор из эксперимента, который проделал редактор. Для того чтобы из десяти фельетонов один оказался крепким, автор должен был не только написать, но и напечатать все десять.

— Почему напечатать?

Не знаю, как другие авторы, что касается меня, я не могу определить истинную цену фельетона до того, пока его не прочтут читатели.

Прошло сколько-то лет, автор написал еще изрядное количество фельетонов, и автору стукнуло пятьдесят.

— Круглая дата,— сказал главный,— давай, Сенечка, выпустим новую книгу, и пусть она будет потолще той, первой.

И хотя опыта у автора за прошедшие годы прибавилось, статистическое соотношение крепких и некрепких осталось прежним, так как это соотношение зависело не только от желания и умения автора, но и от многих других сопутствующих обстоятельств. От

материала, который редакция предоставляет в руки фельетониста, от темы, которую сможет разглядеть автор в этом материале. Хорошо, если эта тема будет острой, общественно значимой и автор найдет для этой значимой темы удачную сатирическую форму. Я не привел и половины тех обстоятельств, счастливое сочетание которых рождает хорошие фельетоны.

Среднестатистические цифры портят жизнь не только журналистам. В свое время я часто писал очерки и корреспонденции на футбольные темы. А из футболистов я выше других ставил центра нападения армейской команды Григория Федотова. Я называл его в своих отчетах и «гроссмейстером атаки» и «королем мячей». А этот король не всегда играл по-королевски. Как-то после серой игры я даже спросил Григория Ивановича:

— В чем дело, дорогой, вы что, больны?

— Здоров!

— А почему сегодня вам не давались ни финты, ни удары по воротам? Три дня назад на стадионе «Локомотив» вы играли, как бог, а сегодня на «Динамо», как самый заурядный форвард?

— Милый, да разве моя игра зависит только от меня?

— От кого же еще?

— На «Локомотиве» трава на поле шелковая, а на «Динамо» жесткая, мяч тут катится хуже.

— Хорошая игра центра форварда зависит всего-навсего от качества травы?

— Не только. А еще от класса игры того защитника, который играет против этого центра. А также от настроения полусреднего. На «Локомотиве» Севка хорошо подыгрывал мне, давал пас на ход. Мне оставалось только ударить поточнее. И я забил три мяча из четырех. Газетный репортер почему-то похвалил только меня, о Севке — ни слова. Севка обозлился не на репортера, а на центра форварда и не дал тому сегодня ни одного хорошего паса. Севка бил по воротам только сам. В результате сам не забил и не дал забить мне.

Через несколько лет у меня произошел примерно такой же разговор с заслуженным деятелем искусств режиссером Эн. Я написал, а театр имени Ленинского Комсомола поставил комедию «Опасный возраст». Актеры подобрались хорошие. Играли легко, весело. Особенно удачно вела свою роль артистка Эс. Каждая ее реплика, сыгранная мизансцена, произнесенное слово доходили до публики. Она на сцене, — смех в зале. Так было сто спектаклей. Прихожу на сто первый, и все выглядит по-другому. Актриса та же, слова она говорит те же, что и вчера, а сегодня они ни до кого не доходят, не вызывают в зале веселых эмоций. У меня ощущение полного провала. В антракте бегу за кулисы, спрашиваю режиссера:

— Что случилось?

— Не пошла игра у Эс.

— Она же хорошо играла вчера, позавчера.

— Разве хорошая игра актрисы Эс зависит только от актрисы Эс?

— От чего еще?

— За час до начала спектакля ей позвонила мать и сообщила о каких-то семейных неприятностях. Не то младшая сестренка Эс схватила по алгебре двойку, не то муж Эс пришел домой «под мухой» и разбил чайный сервиз. У артистки тотчас испортилось настроение. Будь Эс постарше, она сумела бы опытом, техникой завуалировать плохое настроение, а Эс первый год играет в профессиональном театре. Пропало у нее настроение, и спектакль пошел сикось-накось, завалился.

В борьбе за очкоры фельетонисты, футболисты и актеры находятся в равном положении. Есть недалекие журналисты, которым кажется, что сочинение очкор зависит только от хорошего, острого факта, который кладется в основу фельетона. Найди такой факт, махни перо в чернильницу, и очкор напишется сам. Ой ли! Очкор — штука капризная. Среднестатистические данные свидетельствуют о том, что нужно написать не меньше десяти фельетонов, чтобы одиннадцатый получился очкором! Стыдно признаться, лично у меня даже одиннадцатый чаще получается не очкором, а только удовлетворительным. А почему, и сам не знаю. Помните, что сказал по этому поводу король мячей Григорий Федотов:

— Севка озлился на меня и не дал пас на ход, и я вместо того, чтобы послать мяч в ворота, ударил мимо.



СОДЕРЖАНИЕ

Кормящая бабушка	3
С миру по трешке.. . . .	10
Базарыч	16
Одна слеза	23
Дело о пощечине	28
Пожалейте Марину!	34
Перо Мих. Кольцова	39

СЕМЕН ДАВЫДОВИЧ НАРИНЬЯНИ

КОРМЯЩАЯ БАБУШКА

Редактор-составитель М. Г. Семенов

Техн. редактор С. М. Вайсборд

Сдано в набор 4.XII. 1974 г. А 00912. Подписано к печати
8.IX.1975 г. Формат 70×108 ¹/₃₂. Объем 2,10 усл. печ. л.
2,78 учетно-изд. л. Тираж 75 000. Цена 9 коп.
Изд. № 1981. Заказ № 3102.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.